



П.Д.
БОБОРЫКИН



СОЧИНЕНИЯ

Сочинения. В 3 т. Т. 1 // Худож. лит., М., 1993
ISBN: 5-280-01828-7, 5-280-01525-3
FB2: "rvvg", 20 April 2010, version 1.0
UUID: B85032C1-BCE1-4160-AA17-0E4F25572DCf
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Петр Дмитриевич Боборыкин

Труп

Более полувека активной творческой деятельности Петра Дмитриевича Боборыкина представлены в этом издании тремя романами, избранными повестями и рассказами, которые в своей совокупности воссоздают летопись общественной жизни России второй половины XIX — начала XX века.

В первый том Сочинений вошли: роман "Жертва вечерняя" (1868), повесть "Долго ли?" и рассказ «Труп».

Вступительная статья, подготовка текста и примечания С.Чуприна.

"Вчера читал Бабар Труп, очень хорош". Л. Н. Толстой, "Дневник"

Содержание

I.....	.0004
II.....	.0012
III.....	.0020
IV.....	.0028
V.....	.0036
VI.....	.0044
VII.....	.0053
VIII.....	.0062
IX.....	.0070
X.....	.0078
ПРИМЕЧАНИЯ.....	.0086

Тропинка заворачивала все вправо и манила в густеющую тень старых развесистых елей.

Ашимова и Крупинский шли медленно, останавливались на ходу, как любят делать русские. Он — коренастый, русский, с большими бакенбардами, в поярковой темной шляпе, в клетчатом летнем костюме, ниже среднего роста. На левой щеке у него было крупное родимое пятно с волосами. Она — почти высокая, для женщины, плечистая и пышная брюнетка, в светлом батистовом платье, без шляпы, под зонтиком. На лбу, широком и загорелом, курчавилась челка. Коса, густая и блестящая, лежала закругленным концом на твердой шее, тоже загорелой. Нос и рот неправильные, немного резковатые; но в общем лицо — красивое и скорее чувственное. Из-под длинных ресниц выглядывали возбужденно и смело синевато-серые, чисто русские глаза.

Девушка шла крупным шагом. Ее спутник старался идти с ней в ногу. Они были одного

роста.

— И вы теперь, Лидия Кирилловна, — продолжал он разговор, начавшийся у опушки леса, десять минут перед тем, — вы находитесь в периоде инкубации?

— Чего?

Она негромко рассмеялась.

— Инкубации-с.

— Что это такое?

— Извольте притворяться. Вы девица умственная, и страшные слова вам знакомы... Инкубация значит назревание, высиживание, правильнее выражаясь.

И он засмеялся. С ней он любил говорить в шутовском тоне и в этом же исключительно тоне, еще не так давно, ухаживал за нею, предлагал и руку. Она отделалась также шутовками. Между ними установилось, в последнее время, приятельство, и они часто искали случая говорить, без свидетелей, на прогулках, о самых интимных своих делах.

— Высиживание, — повторила Ашимова, наклонив голову в сторону, точно она искала цветка в придорожной густой траве.

— А разве термин не точен?.. А?.. Разумеет-

ся, инкубация. Этак, знаете, красивее звучит. Помните, и гётевский Фауст, в первой картине, когда проделывает ученую чертовщину, то вскрикивает по-латыни: Incubus! Incubus!

— Какая у вас дьявольская память, Крупинский... Настоящий прокурор!

— Вы это сказали с таким выражением, точно в мыслях своих употребили слово: сыщик. Что ж! От вас мне ничто не в обиду. Обтерпелся, Лидия Кирилловна, когда ходил по вашим пятам, в звании претендента, и посягал на матримониум.

— Полно, посягали ли как следует? — спросила девушка, подняв на него длинные ресницы, и лукаво улыбнулась своими большими серыми глазами.

— Вот те крест, посягал!.. Знаете, это болезнь такая. Наш брат, холостяк, подвержен ей бывает в период от тридцати до тридцати пяти лет, когда у него начинает сосать под ложечкой при виде всякой благообразной отроковицы.

— Стало, я была для вас — всякая, Крупинский?

Она остановилась и взялась нервной ру-

кой с тонкими пальцами без перчатки за низкий сук дерева.

— Всякая! всякая!. Не извольте придирайтесь. Как это для самолюбия моего ни обидно, но я вам и декларацию делал... по всем пунктам.

— Не помню, чтобы вы пришли и сказали просто: хотите, Лидия Кирилловна, быть моей женой, или письмо бы написали.

— Писать нельзя! Это документ-с!

Крупинский детски рассмеялся, и его карие и узкие глаза слезливо заискрились.

— Вы говорили... экивоками... А что, если бы я тогда взяла да и сказала: согласна!.. Вот поймались бы, ха-ха!

Смех ее зазвучал возбужденно, но не простодушно. Она была поглощена совсем другим, тем, о чем они начали дружески говорить с самой опушки леса.

— Поймались бы, это точно... Во-первых, я убеждаюсь, что у меня для супружеской жизни нет самого главного свойства, — он подмигнул и сказал как бы в сторону, — вам с этой психологией надо, в первую голову, ознакомиться в настоящий момент.

— Какое же это свойство? — перебила она с оттенком задора, часто звучащим в ее тоне, даже когда она и не спорила, а спорить она вообще любила.

— Какое? — медленно переспросил Крупинский. — Вот какое-с: способность нести тягло...

— Это общее место, Крупинский!

— Нет-с! Извините! Тягло употребляю я не в виде пустой метафоры, вместо «уз», "ярма" и прочих образных выражений, а в прямом значении — в мужицком: тягло есть выполнение совместной жизненной задачи; это — паевое товарищество, во всем и во всякую минуту — вот что я хочу сказать... И на такой подвиг, да еще с обязательством выполнять его всю жизнь, я не гожусь... Под влиянием временного умопомрачения думал, что способен на него, а теперь отрезвел.

— Ну, а во-вторых! — допрашивала она, и в ней как будто заговорило уязвленное чувство красивой девушки, которой человек, увлекавшийся ей, шутливо говорит о своем теперешнем нежелании жениться. Она не верила его полной искренности, хотя и не считала его ни

фальшивым, ни склонным к рисовке.

— Вы не забыли, значит, что я сказал: «во-первых»? В женщине это удивительно! Дальше «во-первых» ни одна из вас никогда нейдет в своей аргументации... Во-вторых — продолжаю я — после тридцати пяти лет, холостяк если не поймался, то делается фанатиком своей свободы, так называемой, прибавлю я, свободы, ибо свобода эта, в сущности, свобода скуки или... или...

Он искал слова; губы его повела усмешка.

— Да говорите же! — нетерпеливо крикнула Ашимова.

— Слово-то... самое прокурорское: или распутства... Ну, а теперь у меня, в месте моего служения, подобралось общество довольно сносное: мужчины, не глупенькие, — произнес он тоненьким голоском, — барыньки, не вредненькие...

— Не вредненькие! Вот как вы смотрите на женщин; а еще морализируете! Не вредненькие! В каком же это смысле?

Ее загорелые, немного полные и твердые щеки начали быстро розоветь.

— В каком смысле?.. Да в разных. Это зна-

чит: ни рожи, веселые, добренькие, не гнушаются нашим братом.

— И вы к ним, ко всем, относитесь, как закоренелый холостяк? Они для вас — дичь; а вы — хищник... Разумеется!

Девушка сделала жест головой, смелый и немного сердитый. Глаза ее стали темнеть.

— Я-то хищник? Побойтесь Бога, Лидия Кирилловна! Только бы меня самого не обижали! Ну, разговоры ведем, о чувствах, конечно, а иногда и о принципах... Без этого нельзя — сами знаете... В дружбу играем; но чтобы насчет расторжения уз — ни Боже мой!.. И без того уж про людей моей профессии слагается такая легенда, что как, мол, куда-нибудь в непочатый угол русской территории ни явятся — сейчас пойдет перетасовка, умыкание чужих жен, разные комбинации законного и полузаконного характера на почве семейственных прав и преимуществ! Нет-с, я как на исповеди вам скажу — до сих пор этим не занимался, а считая студенческие годы, состою в звании молодого человека уже больше пятнадцати лет... Но и в нашем захолустье, и везде, где я только ни служил, это поветрие все

сильнее и сильнее забирает. Люди моей профессии вряд ли больше других особ мужского сословия грешат в расторжении семейных уз; но вообще это сделалось уже не эпидемической болезнью, а эндемической, как в Петербурге тиф или дифтерит.

Они вышли на лесную полянку. Направо навалено было несколько сосновых бревен, и свежее дерево отливало приятным изжелта-розоватым цветом своих стволов, лежащих горкой.

— Присядем, — сказала Ашимова и указала рукой на бревно.

Ей не хотелось продолжать разговор все в таком же тоне. Балагурство приятеля начинало раздражать ее. Он, точно нарочно, не желает откликнуться, мягко или резко, это уж его дело, на то, что она, с такой прямою, сейчас открыла ему, во что ушла теперь вся...

Солнце, сильно спустившееся к закату, глядело сквозь сизо-зеленую листву нескольких осин и темнеющую, почти черную, хвою елей. Его лучистая полоса легла на стан девушки, севшей на бревно.

Ее спутник прилег на мураве сбоку и отмахивался веткой от мошек, роившихся вокруг них, предвещая такой же ведренный день и на завтра.

— Иван Захарыч, — начала Ашимова более низкой нотой, звуком певицы с сильным *mezzo-soprano*, — оставим все это ненужное резонерство!

— Рассудительство, — поправил он.

— Что еще?.. Вы все с вашими словечками!..

— Это я, недавно, в мемуарах одного поэта прочел такое слово. Превосходное слово! Рассудительство, — медленно и вкусно повторил Крупинский.

— Ну, хорошо. Но довольно... Вы друг мне или нет?..

— Друг, друг!..

— Бросьте этот тон! Вы видите, что тут дело идет о жизни двух существ.

— Трех.

— Как трех? — почти наивно переспросила она и откинула на плечо свой полосатый зонт.

— А как же? Вы *ее*, стало быть, не считаете?

— Кого?

— Да жену!..

Две-три секунды она помолчала, и тотчас же складочка залегла на ее переносицу, где густые брови, светлее волос на голове, почти сходились.

— Жену!.. Это само собой разумеется!

— Нет, не само собой.

— Да кого же вы слушаете, Крупинский? Вашу приятельницу Ашимову? Ее судьба вас интересует, или какая-то женщина...

— *Какая-то!* Я с таким определением не согласен, Лидия Кирилловна.

— Ах ты, Господи! — она вся всколыхнулась, — да вы не на заседании суда, вы не заключение даете.

— Нет-с, заключение. Вы хотели потолко-

вать со мною по душе, значит, выслушать мое дружеское мнение... А то из-за чего же бы вы стали говорить?.. Чтобы заявить, что, мол, так-то и так-то я поступаю и желаю дальше поступать. Только для констатирования факта, как у нас курьер один выражается?

— Крупинский! Я так не хочу! — в голосе девушки задрожали нервные звуки. — Это слишком серьезно!..

— А я не серьезно говорю.

— Вы только придираетесь.

— Почему?

Крупинский немного приподнялся и прислонил спину к бревну. Лицо свое он держал вполоборота. Усмешка не сходила с его толстоватых губ; но взгляд был совсем не веселый; искреннее настроение сквозило в выражении его ущемленных умных глаз.

— С какой стати вы пристегнули ту?

— Жену? Вам это слово, Лидия Кирилловна, точно поперек горла стало... Нехорошо-с!

— Без прописей, пожалуйста!

— Не хорошо, повторяю я, друг мой — не хорошо! Вы будете говорить, что я "приказный с прописью", но я возьму пример из сферы

гражданского права. Вы желаете вступить с господином Икс в формальный договор...

— Сейчас и договор!..

— А то как же? — Крупинский резко обернулся к ней всем туловищем. — Да что же мы, дети с вами или полоумные?.. Извините меня! Как же не договор? Положим, он у нас не перед нотариусом и не перед господином мэром заключается; но ведь если вы меня пригласите в шафера, мне отец дьякон подаст книгу и я там распишусь: "по невесте — коллежский советник Иван Захаров сын Крупинский". Так или нет?

— Ну, так; а потом что?

— Следственно, это акт, да еще притом таинство, а не что-либо иное. Ведь вы не желаете быть только подругой господина Икса? Позвольте мне римский термин?.. Его *конкубиной!*.. По-русски это звучит гораздо хуже.

— Знаю!..

Складочка на переносице девушки обозначилась резче.

— Стало быть, вы желаете заключить договор; но для этого вам надо расторгнуть другой договор господина Икса, уже существующий

ций и для него обязательный.

— Почему же я его расторгаю?

— А то кто же? Вы причина, вы повод. Ведь если б он вами не увлекся, ничего такого бы не случилось? Вы, значит, употребляя термин Спинозы, *natura natu-rans*, а человек, вами увлеченный, — *natura naturata*... Так или нет?

— Увлечение — если это увлечение, а не настоящая любовь — с обеих сторон.

— Положим, с обеих. Но повод все-таки вы. Вы сами говорили мне и писали раньше, что господин Икс уже производил на вас нападения, в виде элегических и бравурных арий, когда вы его еще не любили?

— Разве я виновата?

— Все мы виноваты в чем-нибудь, Лидия Кирилловна. Вы не виноваты в том, что красивы и даровиты, и можете вызывать страсть; но тут не *двое*, повторяю я, завязаны в дело, а *трое*. Чтобы способствовать расторжению, и притом насильственному, существующего договора, вы, как честная девушка, должны убедиться в том, что та-то сторона — в старом-то договоре — действительно несостоятельна, что господин Икс жертва, что

никаких печальных последствий от такого расторжения ни для нее, ни для других существ не предстоит. Одна ли она?.. Вы до сих пор мне ничего не говорили... Или есть плоды этого союза?

— Есть, — тихо, но почти жестко выговорила девушка.

— Ай-ай! И не один плод?

— Целых трое.

— Стало, уже шестеро душ завязаны в дело?.. И можно так, как немцы говорят: "mir nichts, dir nichts", [1] - резнуть по живому месту и выбросить из колеи несколько человеческих существ? Славно! Знаете, когда я был гимназистом, меня ужасно восхищали песенки Беранже в переводе Курочкина... И один припев засел у меня в голове на веки веков:

Вот они, вот — неземные создания —

Барышни, тра-ла-ла-ла!

Неземные создания. Это точно... Ничем земным не смущены, когда им чего захочется!

— С какой же стати, Крупинский, вы вооб-

разили, что девушка, как я, пойдет на такой шаг "mir nichts, dir nichts"? Я знаю, что этот союз — вы так громко выражаетесь — не может продолжаться. Разве только тот договор можно расторгнуть, где кто-нибудь оказался недобросовестным, формально нарушил его? Господи! Да коли нет больше любви?.. Нет и понимания в ней. Да, нет! Это две натуры, ничем не связанные, кроме обузы обязательных отношений. Он — артист, с головы до пяток, ему нужна женщина — на высоте его таланта и его судьбы; а она — просто наседка, ограниченная, тошная, кислая, больная. Она не годилась бы для мужа и в сиделки, будь он старик, а не человек, полный сил. Щеки ее уже пылали. Она говорила сильно, сочными нотами, и грудь ее слегка вздрагивала от избытка волнения.

— И все это вы знаете доподлинно или в устной передаче господина Икса?

— Кто же вам давал право считать его лжецом? Да и от десятка посторонних лиц я слышала то же самое.

— Значит, решение назрело, и все, что я вам скажу, будет бесплодно? — Он протянул

руку. — Не сердитесь и дайте ручку. Все это прекрасно, Лидия Кирилловна, только смотрите, не перешагните через труп...

— Через труп?

— Я это не в прямом, а в образном смысле... Не перешагните через нравственный труп живого существа, не загубите души, которой вы сами не видали... Да и я тоже, к сожалению!..

Дачная жизнь была уже позади. На дворе стоял петербургский сентябрь, но еще светлый и теплый, хотя месяц подходил к концу.

В легкой кофточке возвращалась Ашимова домой, по набережной Фонтанки.

Она шла ускоренным шагом, и положение головы показывало, что она озабочена.

Ей не хотелось опоздать, прийти после того, кого она ждала к себе, около трех.

Больше недели они не видались. Он уехал в Москву, прислал оттуда две депеши, ничего не говорившие об успехе их «дела». Сегодня он должен был вернуться с курьерским, но просил не встречать его на вокзале.

Она любит в нем эту деликатность и осторожность. Он желает, чтобы для всех она была девушка с незапятнанной репутацией. От всяких поездок за город, в увеселительные места, и летом, и прошлой зимой, от троек и даже ресторанов он воздерживался; а любил повеселиться. Этим он прямо показывал, что готовит ее себе в жены, а не в «конкубины».

как выразался ее приятель Крупинский.

Тот на службе, в своей провинциальной труппе, пишет ей редко, как будто дуетя на нее: они простились там, на даче, по варшавской дороге, куда он приезжал только для нее, не особенно нежно. Может быть, она сама была виновата. Но говорить с ним по душе — значило спорить или выслушивать его резонерство. Правда, он объяснял свои прокурорские допросы и заключения — дружбой к ней, боязнью, чтобы она, увлекшись, не пошла на какое-нибудь "нехорошее дело".

И выражение «дело» не выходит у ней из головы, как только она начнет думать о своей судьбе.

Вот и теперь дело, должно быть, не очень двинулось в Москве. Там он съехался с их адвокатом, возвращавшимся из Крыма. Оба они, каждый по-своему, должны были подействовать окончательно на жену, на тошную Анну Семеновну.

Каждый раз, когда она думает об этой женщине — а думает она о ней всякий день, иногда по нескольку раз, — она представляет ее себе угловатой, костлявой, с желчевыми пят-

нами на лбу и на щеках, в кацавейке, или сером вязаном платке и стоптанных туфлях, с запахом камфарного спирта и валерьяны, плохо причесанной, полуседой, вероятно, полупылой...

Но она не видала никогда ее портрета, даже простой карточки. Он не показывает, и у него на квартире, куда она стала заходить только с весны, нигде ее портретов нет. И это ее прельщает. Все та же деликатность сказывается в его поведении. Он не хочет, чтобы она имела повод, хоть в пустяках, ревновать к его прошлому.

Разве можно ревновать к *такому* прошлому? Он женился почти мальчиком, чуть не на втором курсе университета, на ровеснице. В такие годы всякая девчонка, будь в ней хоть что-нибудь сносное: глазки, или голосок, или наивность, ласка — кажется Лаурой Петрарки или тургеневской Асей. Ровесница тогда — теперь она его на десять лет старше: так всегда бывает для женщины, да еще замужней, с болезнями, с троими детьми... Кажется, и еще были дети, только не жили.

И когда она перебирает все это, ей ничуть

не жаль ни женщины, ни матери, ни жены, а ведь она не считает себя ни злой, ни бездушной... В семье, в гимназии, в консерватории — она целых двенадцать лет училась в разных заведениях — ее любили, она слыла и слывет отличным «товарищем», давала всегда займы, оказывала всякие услуги: сколько народу пользовались ее добротой! Вспыльчива, резка — да, и не мало историй имела с начальством — учителями и профессорами; обидчива чрезвычайно, спорщица, задорна, самолюбива — все что угодно, но не бездушна, не сухая эгоистка. Этого никогда не было и не будет!

И все-таки жалеть эту тошную Анну Семеновну она не может и нисколько себя в этом не упрекает.

Вчера, держа в руках листок депеши, от него, из Москвы, со словами: "Выезжаю, о результатах при свидании", — она сразу расплилась на нее... В этих строках телеграммы чуяла она что-то неладное, иначе он обрадовал бы ее хоть одним словом.

"Точно собака, — крикнула она про себя, нервно комкая листок депеши, — и сама не

ест, и другим есть не дает".

И ей не стало стыдно этих грубых, совсем уже не девических слов.

Не совестно и теперь, по пути домой, думать все о том же, в таких же почти резких и неизящных выражениях.

Но она не может иначе. Это выходит само собою. Ей кажется ее собственное положение таким ясным и непреложным. И его положение также. Полюбил ее человек, вызвал и в ней не пустую вспышку, не увлечение скучающей, вздорной и испорченной девчонки, а чувство девушки по двадцать третьем году, в которую не один мужчина влюблялся, красивой, с талантом, с характером, с большим сознанием своего достоинства. Их «союз», она часто употребляла мысленно это «прокурорское» слово Крупинского, не вздорная или беспутная затея... Они созданы друг для друга: у них одна дорога, один идеал: искусство, слава, высокие наслаждения, какие только и можно испытывать, когда увлекаешь тысячную толпу и она трепетно рукоплещет тебе.

Есть ли что проще, законнее, повелительнее этого? И кто же не позволяет? Какая-то от-

цветшая, постылая и ординарная женщина, не желающая уходить... Ее просят: "уйди, не мешай!" а она упирается, вцепилась в какие-то там права.

Какие у женщины могут быть права, когда мужчина разлюбил ее?.. Разве у нас контракт подписывают?

"Дети, — подумала Ашимова, когда была уже в нескольких саженьях от своего дома, — ну, дети..." Но он будет давать на воспитание... И ей предложат, или уже предложили, отступное.

Слово «отступное» не покорило ее, точно оно было самое обыкновенное, вроде слов: «неустойка» или «задаток», когда думают о каком-нибудь условии по найму квартиры или по ангажементу в труппу.

На своем подъезде Ашимова обернулась и оглядела ряд разноцветных домов, по ту сторону реки, загибавших мягкой ломаной линией. Свет играл в окнах. Все смотрело весело. Воздух был бодрящий и под стать осеннему ясному дню.

Она прервала свои думы недовольным возвратом к самой себе. Зачем она себя так рас-

страивает прежде времени? Может быть, он вернется с доброй вестью. Когда только она отучится от забеганий вперед, когда будет уметь сдерживать свой слишком пылкий и тревожный нрав?..

"Темпераменту отбавьте, барышня, отбавьте, голубушка", — припомнились ей смешливые слова опять все того же прокурора и приятеля, из их предпоследней прогулки по лесу, дня за три до его отъезда.

"А как его отбавишь", — с усмешкой своих ярких и пышных губ спросила она и, скоро и громко дыша, начала подниматься в четвертый этаж.

Она нанимала, уже вторую зиму, две комнаты, от хозяйки, служащей в думе, бывшей классной дамы, тихой и чрезвычайно воспитанной вдовы. Мебель наполовину была ее собственная — почти все, что стояло в спальне.

Но и на площадке, когда она надавила пуговку электрического звонка и перевела дух, ее опять схватило за сердце, и так произвольно, с таким ясным физическим ощущением нитья... Она знала, что сердце у нее здо-

ровое. А в предчувствия она не хотела верить... Никаких суеверий она за собой не признавала, и ее товарки по учению, еще с гимназии, говорили про нее в голос: "Ашимова ничему не верит, даже числа тринадцать не боится!.."

"Вздор, — сердито прикрикнула она на себя, — все чего-то боюсь, беспричинно боюсь, и совершенно по-женски... по-бабьи", — задорно поправила она себя.

IV

Ее гостиная — квадратная, высокая комната. Да давно не казалась ей такой нарядной.

Одну стену, вплоть до двери в спальню, занимал кабинетный рояль. В углу стоял резной ореховый столик с плюшевой обивкой, со множеством портретов и бронзовых вещей и с хорошенькой лампой.

Мебель была всякая: и мягкая, поизящнее и подороже — ее собственная, и с деревянной обшивкой — хозяйская. Большой ковер покрывал, до половины, паркетный пол. Узор портьер и гардин, цветы, запах царской воды — все это прихорашивало комнату.

Ашимова оглядела свою гостиную долгим взглядом и сначала возбужденные глаза затуманились: такие переходы делались у ней чрезвычайно быстро.

Ей пришла вдруг на ум фраза: "настоящая квартирка содержанки". И она не могла ее прогнать. Почему именно теперь, вот сейчас, ее комнаты показались ей похожими на это — она не могла объяснить... И когда она прошла в спальню, такую же просторную и

очень светлую, то это сравнение только усилилось.

Она сняла шляпу медленно, в рассеянной, озабоченной позе, у туалетного столика и не глядя на себя в зеркало.

"Разумеется, — думала она, подчиняясь опять настроению, в каком шла по Фонтанке, — разумеется, и хозяйка, и горничная Феклуша, и старший дворник, и швейцар Нефед — считают меня "барышней с поддержкой".

Она недавно слышала это выражение от кого-то из своих товарищей по консерватории. Значит, оно уже в ходу в Петербурге.

"Да, барышня с поддержкой!" И как же может быть иначе? Хозяйка знает, что она близка с ним, вот уже второй год; знает его и как артиста; несколько раз говорила с ним у нее; знает и то, что он давно женат, каким образом, неизвестно, но знает. Это чувствуется в том, как она говорит про них обоих. Для прислуги он и подавно тот самый господин, который ее поддерживает.

А ведь это неправда. Она живет на свои средства... Или лучше — доживает на них.

Еще год, и у нее ничего не останется, или останется доход в каких-нибудь триста рублей. Но до тех пор она будет на сцене, его женой и подругой на артистической дороге.

"Барышня с поддержкой!" — почти вслух выговорила она, расстегнула кофточку и бросила ее на стул.

Это была бы безобразная, возмутительная клевета! О деньгах, о материальных вопросах у них никогда и речи не заходило. Даже и теперь, когда они уже смотрят друг на друга, как на обрученных, у них не было еще ни одного серьезного разговора о том, как они устроят совместную жизнь. Никогда он не спрашивал ее подробно о том, на какие средства она живет, но она, на первых же порах знакомства, говорила ему, что живет на небольшой капиталец, оставленный ей теткой; не скрывала и того, что она проживает уже этот капиталец и разочла, чтобы ей хватило, по окончании учения, на два года, с поездкой за границу, в Париж и Милан, до поступления на оперную сцену.

И с первых же дней их теперешней близости она не позволяла ему платить за себя, в

пустяках, извозчику или за билет. Это ему нравится, потому что он сам деликатный и осторожный.

Подарки принимала — но какие?.. Корзину цветов, вон ту лампу, рамки для портретов, два коврика, ящик к именинам, с дюжиной перчаток... Да и то из-за этих перчаток вышло объяснение. Это отзывалось порядочной суммой — вместе с ящиком: рублей на сто, а может быть, и больше.

И еще один, довольно ценный подарок. Она получила, прямо из Парижа — боа из страусовых перьев. Это могло стоить франков двести... Она решительно не хотела принимать, но он так мило просил, надел на себя, — она рассмеялась и не могла устоять против соблазна, — боа было самое модное и ни на ком еще она не видала точно такого.

Туалет он обожает и ценит в ней уменье одеваться... Ни одни только платья, а все детали, все мелочи. Смыслит он во всем этом больше любой женщины. И с тех пор, как они стали близки, она — неузнаваема в своем туалете. Конечно, тратит она больше прежнего, особенно на обувь, перчатки, шляпки, но не

безобразно много.

Он артист с головы до пяток. Его оскорбляет все некрасивое, старомодное, безвкусное или крикливое, всякая небрежность и неопрятность.

Любимая его поговорка: "женщина — произведение искусства".

Конечно, он и к жене начал охладевать оттого, что она такая неизящная, костлявая, нечистоплотная...

"С запахом камфары и валерьяны", — прибавила Ашимова с полной уверенностью, так живо представила она себе все это, будто струя ненавистных ей запахов пролилась по комнате.

И к чему она себя успокаивает и защищает? Ведь она же знает, что ни одного рубля от него не получала, что на квартиру, стол, платье, извозчиков, театр — расходует она из своих собственных денег.

— Бог знает, что такое! — громко выговорила Ашимова и быстро подошла к широкому шкапу, откуда достала новый пеньюар, сшитый на днях, из светлой фланели с кружевами.

Она мечтала сделать ему сюрприз. Он ей все советовал ходить дома в чем-нибудь более покойном и легком, и вместе изящном, где бы было побольше красивых складок. О ее бюсте и линиях тела он говорит всегда, как истый художник, с особой блуждающей улыбкой. Да и вредно петть и аккомпанировать себе, затянутой в жесткий лиф, с узкими рукавами.

В пеньюаре рукава откидные и руки на полной свободе, ее наливные, удивительно белые руки, которых не коснулся летний загар.

Поспешно она переоделась.

И когда она встала перед трюмо, поправляя кружево на плечах — кружево было дорогое, оставшееся от покойной матери, — сзади, в зеркале, отразилась вся спальня с кроватью, отделанной гипюровой кисеею, туалетом, кушеткой, умывальным столом.

Вся эта комната смотрела весело и так же нарядно, как и гостиная. В ней не было ничего яркого, нескромного; но Ашимову опять охватило жуткое чувство, и она не могла его отбросить.

Она зажмурила глаза и повернулась к зеркалу спиной. Запах, стоявший в комнате, усилил ее жуткое чувство. В нем были и пудра, и eau de Botot, и духи, подаренные им. Вся эта смесь говорила не о строгой, трудовой жизни одинокой девушки, а о чем-то совсем ином: о постоянном желании нравиться, о заботах и привычках красивой женщины, у которой есть тайная связь.

Когда она раскрыла глаза — слова: "квартира содержанки" точно выскочили у ней, откуда-то, в голове, и она не могла отделаться от верности впечатления, хотя и знала, что она честная девушка, что у ней есть жених, или что то же: человек, расторгающий для нее свой первый брак, что она, наконец, не принадлежит ему вполне, что она не шла с ним дальше близости, допустимой у обрученных.

Порывисто и с раскрасневшимися щеками вышла она из спальни и подбежала к письменному столику, где взяла бронзовые часики и приблизила их к глазам, по близорукости.

Было уже десять минут четвертого, а его

все нет.

"Приехал ли?.. Не случилось ли чего?" — с неожиданной тревогой спросила она, скорее облегченная этим беспокойством: оно отгоняло от нее назойливые и жуткие мысли.

Звонок раздался отрывисто и резко. Ашимова вся вспыхнула и остановилась посредине гостиной. Выбежать ей стремительно захотелось; но он этого не любил — из-за прислуги.

Она поправила еще раз кружево на шее и взялась рукой за густую косу — это был ее обычный жест в минуты внезапного волнения или раздумья.

Вот он снимает пальто и о чем-то тихо спрашивает горничную. С ней он иногда шутит.

В дверь постучали. Он всегда это делает и называет русскую замашку прямо входить — "порядочным варварством".

— Войдите, — откликнулась она, точно постороннему на "вы".

Они были на «ты» только с глазу на глаз; даже при горничной или хозяйке воздерживались они от "ты".

В дверях остановился мужчина сорока лет, рослый, немного полный, с округленными плечами, блондин, очень старательно и моло-

до одетый, по-летнему. На черепе, маленьком по росту, курчавились волосы, поределые на лбу, коротко подстриженные. Бородка и довольно длинные усы были изысканно причесаны и подзавиты. В глазах, голубых и круглых, играла усмешка здорового сангвиника, всегда довольного собой, как мужчиной и артистом.

Всякий бывалый человек признал бы в нем актера или певца.

— Наконец-то! — сдавленным звуком крикнула Ашимова и подбежала к нему.

Они обнялись. Он поцеловал ее в глаза и в волосы... Она совсем замерла от этих ласк и несколько секунд ничего не могла выговорить.

— Заждалась, милая? — спросил он вполголоса, придерживая ее за талию посередине комнаты. — Прости! Меня задержали на Невском. Знаешь русскую манеру начинать на тротуаре бесконечный разговор.

Голос его вздрагивал в груди. Тембр был баритонный.

— Ну, сядь, сядь здесь, — пригласила она его на диванчик, стоявший около этажерки,

против рояля.

И ей вдруг стало светло и бодро на душе. В тоне его слов, в блеске глаз, во всей посадке не зачуяла она ничего неприятного.

Рука ее осталась в его руке. Она опустила голову на его мягкое, округленное, по-женски, плечо и, порывисто вдыхая в себя воздух, выговорила:

— С чем вернулся?

В натуре ее лежало: идти прямо туда, где опасно, малодушно не откладывать ничего, что имеет решительное значение. Вот почему она любила экзамены, конкурсы, всякие состязания, вот почему считала она себя рожденной для сцены, где все надо брать с бою.

Задавая так поспешно этот вопрос, она как бы хотела отделаться совсем от мысли, что она "барышня с поддержкой". Он объявит, что все улажено, и через месяц или через полгода — ведь это все равно — она его жена и будет считаться его невестой, с нынешнего дня, перед всем светом.

— С чем вернулся?

Он повторил эти слова замедленно и тотчас же поцеловал ее, как бы желая наперед

утешить.

— Нейдет на развод?

Ее голос раздался глухо. Она подняла голову и смело взглянула ему в глаза.

В лих она прочла что-то двойственное; но рот его с извилистыми, еще молодыми губами, улыбался.

— Нейдет, — выговорил он и поднял плечи. Рука ее, лежавшая в его руке, выпала. Она вскочила и заходила по комнате.

— Но ведь это подло, наконец! — крикнула она, с пылающими щеками. — Что же нужно для того, чтобы она смиловалась?.. Ведь мы не рабы ее бездушного эгоизма и самодурства? Этому имени нет! Имени нет!

С рояля она схватила сверток нот и начала бить им по ладони левой руки, все еще продолжая большими шагами ходить взад и вперед перед диваном.

Он сидел.

— Милая, не волнуйся!

— Я знаю! Ты так благороден, что будешь и ее защищать. Но это так жестоко, так...

Она искала слова, чтобы не разразиться бранью: он не любил ничего вульгарного, и

это ее удержало.

Так же порывисто присела она к нему на диван и опять взяла за руку.

— Ну, скажи... Значит, и адвокат не подействовал?.. Он был там?

— Был. Целых двое суток уговаривал... Потом и я... Уперлась на одном: живите, я вам не мешаю; но взять на себя вину не могу: это значит — признать себя виновной, а я не виновата. Брак — таинство! Я его не нарушала.

— Ведь ей же предложено?..

Слово «отступное» остановилось у ней на губах.

— Об этом и слышать не хочет... Как только адвокат заикнулся — с ней сделался сильнейший припадок, насилу оттерли.

— Скажите пожалуйста!

Ашимова сделала презирающий жест свободной рукой; в ее потемневших глазах блеснула ненависть к разлучнице, усиленная тем, что она смеет еще падать замертво от оскорбленного чувства, как будто они, то есть муж ее и та, кого он полюбил, ниже ее по своим чувствам!..

— Это ее дело!

— А ты, Анатолий, веришь в такое бескорыстие?

— Не в том вопрос, милая... Надо довести ее до того, что нам необходимо. Средство одно: взять вину на себя.

— Никогда! — крикнула Ашимова. — Это значит — идти на огромный риск. Всякий может донести на нас, если бы даже и нашелся священник, который согласится обвенчать...

— Погоди, — все с той же блуждающей улыбкой остановил он ее, — да и на это надо получить ее согласие. Она ведь не говорит, что ей самой необходима свобода, потому она и не хочет брать вину на себя... Уперлась на том, что так нельзя, совесть ей не позволяет... И детей тут приплела.

— Детей? — спросила Ашимова таким звуком, точно она в первый раз услышала о их существовании.

— Ну, да, детей, — наморщив лоб, повторил он. — Видишь, по ее рассуждениям, развод — нравственная гибель для детей... Лучше так разъехаться, но не отнимать совсем у детей отца или мать, или обоих вместе.

— Это фарисейство! Всякая ханжа так рас-

суждает! А просто — впиалась в человека и не хочет никому уступать его! Гадость какая!

Плакать она не могла; но в горле перехватывало, и она близка была к нервному припадку.

Он, молча, привлек ее, и она прильнула к нему, чувствуя, как глаза ее становятся влажными.

— Переждать надо, — тихо заговорил он, покрывая ее лоб и глаза короткими поцелуями. — Не волнуйся... не порти себе крови!

Его голос звучал мягко и беспомощно. Жалость зажглась у нее в сердце, жалость не к нему одному, а и к себе, к ним обоим. Больше года любят они друг друга, сдерживают себя; страсть в них трепещет, а они должны томиться. Во имя чего?..

Сколько раз он сам почти убегал от ее ласк — и она с полусознанным эгоизмом девушки не хотела понять, как ему трудно бороться с собой.

Ждать! Чего же ждать?.. И неужели оттого только они будут достойны презрения, что их законному счастью мешает какая-то дрянная ханжа и лицемерка?

Белые руки ее обвились вокруг его шеи... Она часто и с возрастающим пылом начала целовать его.

— Лидия! — шептал он. — Радость моя!.. Пощади меня!..

— Нет, не надо!.. Прости!.. Я сама была эгоистка... Два раза не живут на свете!

Злобное чувство примешивалось к взрыву ее страсти. Она точно мстила той женщине, хотела показать, что презирает в ней права жены, что их любовь выше ее затхлой и себялюбивой морали.

Голова у нее закружилась.

Ни страх за будущее, ни укол совести ни на секунду не смутили ее... Она бросалась навстречу всему...

VI

Весна — тяжкая и запоздалая — поливала город мелким дождем и держала его в постоянной мгле.

В сумерках, наступивших слишком рано, Лидия Кирилловна лежала одетая, на постели, все в той же квартире.

Ей было сильно не по себе. С утра чувствовала она страшную слабость... Голова, от мигрени, минутами совсем замирала.

Она ждала.

Ее душевное состояние делалось с каждым днем все хуже и хуже... Факты стояли перед нею; давили... Скоро — не больше, как через месяц или шесть недель — она будет матерью.

Это подкралось так неожиданно, так предательски... «Неожиданно» — для нее, как для всякой девушки, увлеченной страстью. Но в этом она не винит его, не винит и себя. Так должно было случиться... Виновница — все та же, ненавистная ей женщина, Анна Семеновна, жена Анатолия Петровича Струева. Столько месяцев прошло — и ничто не сделано.

Они не обвенчаны. Так — как собака — это сравнение Ашимова употребляет каждый день — лежит на сене, и сама не ест, и другим не дает.

Зима прошла или, лучше, проползла слишком быстро и не дала ничего... Дебютировать ей не удалось. Не могла она и уехать в Италию, поучиться в Милане... Не могла, не по неимению средств, а потому, что не хотела оставить его, надеялась на дебют здесь. Теперь нельзя показаться на сцене... Дебют ей предложили весной. Но как же она выйдет, в ее положении?

Здоровье покачнулось и так быстро. Она почти всю зиму пролежала в постели или на кушетке. С поста стало уже совестно показываться к знакомым. Внутри у нее клокотало. Из-за самодурства и злости старой, постылой жены она не должна выносить такие страдания. Что же тут позорного, что она делается матерью, когда она любит, любима, честна, до педантизма, во всем, в последнем пустяке; когда ее права на уважение и признание ее чувства неизмеримо выше, чем у той постылой и ехидной женщины?

Все это давит и его. Он — артист. Ему нужна подруга во всем блеске и обаянии молодости, здоровья, красоты, веры в свои силы. А она хиреет, не может скрывать своего уныния и раздражения. С ней он, по-прежнему, деликатен; но ему тяжело.

Несколько раз она не воздержалась, стала упрекать его в том, что он не достаточно энергично действует... Но что же ему делать?.. Не зарезать же свою жену, не отравить же ее? Насильно он не может заставить ее дать развод.

Пригрозить, что отберет детей? Она доходила до того, что указывала ему и на это средство. Он не поддавался; по крайней мере, ничего сам не говорил в таком направлении... Раз только сообщил, что советовался с адвокатом насчет детей. Тот ему сказал:

— Добровольно она не отдаст. Дети ее любят... По приговору суда вы вряд ли получите их. Скорее она могла бы добиться того, что вас заставят давать на содержание детей.

Он ничего на воспитание их не дает — она не требует, не пристаёт. Но это только тактика, средство отнять малейший повод предъ-

явить к ней какое-нибудь неудовольствие... Пускай все считают ее мученицей и праведницей!.. А на них падет весь позор.

Но в чем же "позор"?

Этот вопрос задает она себе беспрестанно, и сознание своей правоты гложет ее и усиливает хворость, мешает работать, отнимает всякую бодрость духа.

Больше недели, когда она не присаживалась к инструменту и не вокализировала. Да и голос стал глуше, слабее и грубее. Минутами она боится и совсем его потерять.

И тогда, что с ней будет?

Она доживает свой капиталец. Еще один сезон — и не останется и двухсот рублей — процентов, а разве на это можно жить? Без голоса один заработок — давать уроки. Но нынче столько преподавательниц пения... Мрут с голоду. Да это только для себя одной, а ведь через шесть недель тут будет еще существо... Его надо кормить, одевать, воспитывать, учить. Брат с отца — постыдно. Это будет значить: ты обязан содержать и ребенка, и меня, потому только, что я тебе отдалась... Не ее личность значила что-нибудь, не душа, не

талант, не нравственные правила, а только смазливое лицо, да роскошная фигура, как первая попавшаяся содержанка, как "барышня с поддержкой", то, чего она так страшилась, что вызывало в ней такое отвращение.

Ашимова повернулась лицом к двери в гостиную, и ей стало опять нестерпимо тяжело от головной боли и замираний сердца.

Она ждала его больше двух часов. Он обещал заехать после репетиции. Все эти дни он как-то и возбужден, и озабочен... Точно он что скрывает от нее; но уж наверно не какую-нибудь радостную весть.

Голова так у ней закружилась, что она не услышала звонка в передней. Горничная просунула голову в дверь и шепотом окликнула ее:

— Барышня!.. Лидия Кирилловна!

— Что такое?

Она с трудом овладела собой.

— К вам барин...

— Зачем же вы докладываете?.. Просите!

— Да не Анатолий Петрович... Вот карточку приказали отдать.

На карточке Ашимова прочла фамилию их

адвоката. Она с ним никогда не встречалась. Все переговоры велись Анатолием Петровичем. Сначала она ценила эту деликатность; а потом жалела, что ее не допускают.

Быстро встала она с постели и приказала горничной просить в гостиную. Ее головокружение прошло сразу, и она успела поправить прическу перед трюмо.

У рояля увидела она человека немолодого, плотного, с седеющей бородой, в золотых очках, немного сутулого, в длинном сюртуке. Он смотрел скорее профессором, чем адвокатом.

Его взгляд — добрый и затуманенный — поверх очков прошелся по ней, и она сейчас же подумала: "он знает, в каком я положении".

Но это уже не смутило ее. Адвокат — сообщник, если не друг. Струев должен был много раз говорить ему, что им *нельзя* ждать, что положение ее отчаянное, как девушки из порядочного общества и будущей жены его.

— Анатолий Петрович, — заговорил он мягким тенорком, — просил меня заехать к вам, Лидия Кирилловна, и побеседовать.

— А он разве не будет? — живо спросила

она, еще не подавая ему руки.

— Вероятно, позднее.

Они сели на тот самый диван, где, восемь месяцев назад, ее охватила роковая жалость к себе и Струеву.

— Имею честь отрекомендоваться, — сказал адвокат с добродушной усмешкой в глазах. — Для вас я был, до сих пор, звук пустой, или таинственный незнакомец, как в старинных романах писали.

С ним ей стало сразу очень ловко. Она тихо рассмеялась.

— Как здоровьице? — спросил он тоном домашнего доктора. — Анатолий Петрович говорил мне, что вы сильно волнуетесь и падаете духом. А это нехорошо. Смелым Бог владеет, и в каждом деле выдержка необходима.

"Разве ты только за этим ко мне пожаловал?" — резко остановила она его про себя.

— С чем же он вас посылает? — Ашимова поглядела на него пристально, почти строго.

— Да за разрешением одного — как бы это сказать деликатного вопроса... вопроса вашей совести.

"Почему же Анатолий сам не поставил мне

этого вопроса?" — смущенно подумала она, но воздержалась от дальнейших вопросов.

"Значит, так надо", — кротко решила она, чувствуя, что с этим мягким посредником ей не придется воевать.

— Моей совести? — переспросила она и опустила свои густые ресницы.

— Так точно, Лидия Кирилловна. Вам положение дела известно не хуже, чем мне. Стало быть, я могу и не вдаваться в ненужные подробности.

— Конечно!

— Я не буду допрашивать вас и о том: кому принадлежала мысль произвести давление на госпожу Струеву насчет детей.

— Да разве Анатолий, — она не успела прибавить "Петрович", — начал действовать?

Это ее обрадовало, и она не устыдилась своего злорадного чувства. Ей понравилось и то, что Анатолий ничего не сказал ей об этом, не желая ее вмешивать в такой образ действий.

— Да-с, — ответил адвокат грустно и мягко.

— Через вас?

— Если угодно — через меня, хотя скажу

вам в скобках, мне это было не особенно приятно... Я переслал Анне Семеновне письмо его и, с своей стороны, от всяких советов и застрачиваний воздержался.

Он поглядел на нее опять поверх очков и в его взгляде она увидела затаенное сожаление.

VII

Тон адвоката обезоруживал ее, но в то же время ей не хотелось выходить из своего душевного настроения.

Нельзя было оставить без ответа и его мягкое допытывание насчет того — кто именно дал мысль действовать угрозой.

— У меня нет никакой нужды преследовать эту женщину, — заговорила она отрывисто, с пренебрежительной миной рта, — но надо же каким-нибудь путем довести ее до сожаления, сломить ее злую волю.

— Злую волю, — повторил адвокат. — Вы уверены в этом, Лидия Кирилловна?

— Боже мой!.. Это тянется целый год, и она не хочет понять, через что я проходила и прохожу...

Протяни он ей руку — она бы разрыдалась. Но горделивая натура взяла тотчас же верх. Не станет она плакать!.. И без всяких жалоб всякий видит, каково ей.

Адвокат отвел лицо и сидел в такой позе, как будто он не решался ей что-то объявить.

— И, разумеется, Анатолий посылает вас с

дурной вестью? — быстро спросила она.

— Лидия Кирилловна, матушка, — особенно мягко начал он и поглядел на нее своими кроткими глазами, где она не могла ничего прочесть. — Вы ясно изволите говорить: злая воля... И ее надо пожалеть, и в ее душу войти...

— Она не заслуживает этого!

— Погодите, милая барышня... минуточку... Ваше слово впереди... Ну, переслал я ей письмо Анатолия Петровича... Ответа нет. Он меня торопит... Я съездил в Москву... А уж куда мне не рука была, по правде сказать...

— И что же?

— Нашел ее в ужасном положении.

— Почему? Она не нуждается!.. У ней есть свои средства. И Анатолий готов...

— Позвольте... Не материально... Разве одна только денежная нужда ужасна? Душевно убитою нашел я ее, в таком расстройстве, что, верите, я не мог выдержать... заплакал... Извините... Лгать не стану.

— Психопатка!

— Психопатия эта весьма понятная. Вхожу — на столе лежит ее старшая дочь.

— Дочь?

Нервная дрожь пронизала Ашимову, и она не могла сдержать ее.

— Да, девочка по тринадцатому году... И красавица... В три дня унесло! Круп, что ли... Знаете, у меня тоже дети... Целых четверо... И мы потеряли одного. Но я такого отчаяния еще не видал... в нашем, по крайней мере, кругу.

Он не закончил и опустил голову, чтобы скрыть свое волнение.

"Как же Анатолий мне ничего не сказал, — подумала Ашимова. — По деликатности?"

— Анатолий Петрович не хотел вас тревожить, — обронил адвокат.

— А на него как это подействовало?

Вопрос вылетел у нее порывисто, и она тотчас же упрекнула себя за него.

— Он — мужчина. У него другой характер... И для него удар... Свое детище... Знаете, такая жестокая смерть заставляет забывать многое... Уверяю вас, Лидия Кирилловна, что ни у кого бы, на моем месте, не хватило куражу подступать с какими-нибудь требованиями или угрозами. Я вам говорю, она в ужасном

расстройстве, и хорошо, если организм выдержит.

Протянулось молчание.

— Прекрасно, — начала Ашимова. — Значит, мы остаемся все так же в пустом пространстве?

Она полуистерически засмеялась и стала сильно потирать руки.

— Анатолий Петрович хотел, чтобы вы именно от меня все это выслушали... Ведь, согласитесь, голубушка, тут просто уж нечто роковое. Человек лежит в горячке, нельзя же требовать от него чего-нибудь, на что необходимы твердый разум и нормальная воля!.. Идти напролом это — добивать ее. Желаю вам всякого счастья, вхожу, от всей души, в ваше собственное положение, но, право, вы сами не захотите, так сказать... перешагнуть к аналою через...

"Труп!" — чуть не крикнула она, и кровь отхлынула от сердца. Ей послышалось слово ее приятеля прокурора там, в лесу, летом, когда она была полна уверенности, что к новому году все будет покончено.

— Через полуживое существо, которое так

легко добить теперь.

— Ну да, ну да! Я знаю, — заговорила она, бессильная сдержать свою нервность, — меня пугают!.. Я жду того, что Анатолий придет и скажет: "ты хочешь перешагнуть через ее труп!" Но это риторика! Это жалостная фраза!

— Нет, не фраза, — очень тихо и протяжно выговорил адвокат. — Переждать надо, Лидия Кирилловна. Того же мнения и Анатолий Петрович. Вы поймите, невозможно действовать, она опасно больна. Я говорил с ее доктором. Это — психиатр. Он перевозит ее к себе в лечебницу. Воля ваша!

"Я не могу ждать! Не могу!" — хотела она крикнуть и вдруг вся ослабла, взялась руками за лицо и беззвучно заплакала. По всему ее телу разливалась ноющая боль и глубокая, безграничная печаль засосала ей в груди.

— Барышня, милая... — слышала она голос адвоката, и рука его коснулась ее плеча. — Не убивайтесь... Все обойдется... Одно из двух: или она не переживет, или она будет неизлечимая душевнобольная, или выздоровеет и упираться не станет, после такого удара. Поверьте мне.

Ее, как маленькую, убаюкивал звук этого голоса. Ей хотелось верить, но она не могла обманывать себя... Что бы ни случилось с той женщиной — на это нужно время, много времени, а она через шесть недель должна быть матерью.

Никогда еще не проникала ее такая жалость к себе. Негодовать не было сил после того, что она услышала от адвоката. Но и простить она не могла. Душевная надсада ее усиливалась и оттого, что в такую минуту около нее не он, не человек, которому она все отдала, а чужой, адвокат, что-то вроде наемного сообщника. Зачем Анатолий сам не явился?.. Он уходит от нее... полегоньку. Это видно... Если охладает совсем — что же тогда?

Ей сделалось так страшно, что она оторвала руки от лица и растерянно огляделась. Слезы перестали течь по ее похуделым щекам.

— Голубушка, — продолжал адвокат, и взял ее за руку. — Вам надо выказать мужество, именно теперь. И Анатолию Петровичу дайте возможность прийти в себя, приободриться, поработать... Его талант оценен... Надо ловить минуту... Летний сезон решит его

уже не одну петербургскую, а европейскую репутацию. Тогда и презренный металл польется. Ведь надо обеспечить себе будущность.

Она слушала и смутно понимала его.

Почему он говорит о "европейской репутации" и о "летнем сезоне"? О каком сезоне? И где?

Ее заколол вопрос: значит, Анатолий получил заграничный ангажемент? Куда? В Англию?

Почему же он ничего ей об этом не говорил? Стало быть, он скрытничал с нею, входил тайком в переписку с заграничными директорами? Но если он будет петь в Лондоне, то должен ехать через три-четыре недели, в начале мая, даже раньше. На такую поездку он даже не намекал ей.

Ее он, конечно, не возьмет, да и как она поедет через две-три недели? Почему же нет? Лучше рискнуть здоровьем, чем остаться здесь, одной, ждать своего позора, беспомощной, точно брошенная, постылая девчонка, имевшая глупость так неосторожно увлечься модным баритоном, у которого и кроме нее

есть много всяких побед, на стороне, и в обществе, и на сцене.

Все эти сомнения, жалобы, упреки готовы были политься рекой. Гордость опять помогла ей сдержаться. Она не выдала своей сердечной боли ни одним словом и сказала только:

— Если вы увидите Анатолия раньше меня, передайте ему, что я все выслушала... Сама я не могу же действовать, коль скоро эта женщина теперь невменяема. Ведь это так называется на судебном языке?

— Так, так... Ну, спасибо, милая барышня. Все перетасуется... И не такие гордые узлы рассекает сама жизнь... нечто больше!

Он медленно поднялся и протянул ей руку. В голове ее начиналось ощущение пустоты. Встать на ноги она не решалась. Она пожала его руку и тихо выговорила:

— Благодарю вас.

Когда шаги его смолкли в передней, она упала головой на спину дивана и замерла. Засыхающие слезы бороздили ей щеки, но плакать она уже не имела сил.

А в ушах стояло одно какое-то слово, и она

никак не могла отогнать его, как докучную муху... Голова не в состоянии была разобрать — какое это слово. Оно жужжало и точно дразнило ее и пугало вместе — казалось впереди долгий ряд дней тоски, страха, стыда, обиды и охлаждения любимого человека.

VIII

Душно в узкой и тесной комнате. Шторы спущены. В спертom воздухе стоит лекарственный запах.

Лидия Кирилловна тяжело раскрыла веки, приподняла голову и огляделась.

Голова не так болит; но сил еще нет встать. Только вчера она, по глазам женщины-врача, догадалась, что опасность миновала.

Спальня смотрит маленькой больничной камерой. Таких четыре, и все выходят в коридор. Две заняты — она не знает кем. Конечно, пациентками в "ее положении".

Вот она до чего доведена честной любовью, пылкой, благородной натурой. Горечь подступила к горлу, и во рту у нее ощущение желчи. Надо жить, действовать, бороться — не для себя одной. Там, в конце коридора, маленькое создание лежит в колыбельке и над ним дремлет и жует что-нибудь мамка, наемная, грубая и глупая мужичка, званием девица... стало быть, такая же незаконная мать, как и она. Своего ребенка отнесла в воспита-

тельный и кормит чужого за деньги... По крайней мере, она хоть на что-нибудь годна. И не унывает, выговорила себе хорошее жалованье, ее пичкают, рядят... Быть кормилицей не всякой удастся, а скопит деньжонок, возьмет своего ребенка и будет его выхаживать, как может... И опять сделается матерью, и опять в мамки... А попадет к богатым и добрым господам, останется в доме, вынянчит свое молочное дитя.

А она?

Терзаться, малодушно хоронить себя от всех, не быть даже в состоянии кормить собственного ребенка!.. Он родился хилым, чуть живым. Понадобилась операция. Долго ли он проживет?

Ей страстно захотелось побежать к нему, расцеловать его, убедиться, что он еще жив, что в колыбели лежит живое маленькое существо, а не окоченелый труп...

Все время, как она лежала в забытии — это длилось два дня, — чуть очнется, сейчас ей представится мертвое тельце, синее, сморщенное, без пеленок, с большой голой головой...

Вот через какой «труп» она скорее всего перешагнет: через труп своего ребенка.

Слезы потекли у нее быстро и обильно и немного облегчили ее. Она потянулась исхудалой рукой к пуговке звонка, приходившейся над ночным столиком.

Отворила дверь сиделка в темно-сером платье и фартуке.

— Как маленький? — спросила она возбужденно, довольно еще сильным голосом.

— Ничего-с.

— Кормилица с ним?

— С ним.

— Марья Филипповна дома?

— Дома-с.

— Попросите ее ко мне на минутку.

Сиделка скрылась.

Третью неделю лежит она здесь, у этой Марьи Филипповны — ученой «мадамы», как зовет ее сиделка.

Какою смелою считала она себя год назад, и позднее, когда страсть туманила ей голову. Минутами она гнала от себя всякий страх перед последствиями, хотела даже выставить напоказ то, что другие считают постыдным.

Пускай та ненавистная женщина, которая довела ее до этого, знает, что она открыто будет матерью.

Вышло совсем не так. Несколько месяцев она скрывала свое положение и прибегла к укрывательству ученой мадамы, как сотни других девушек и вдов.

Но это не все... Можно снести сознание своего малодушия и своей неудачи и продолжать любить, верить в того, кто был причиной страданий.

Любит ли она теперь, вот в эту минуту?.. И верит ли?

Она хотела бы верить до последней минуты. Да и какое она может привести несомненное, разительное доказательство того, что этот человек предал ее, бросил, поступил, как бездушный развратник?

Факты — не за него; но и не против него.

Хлопоты о разводе они должны были прекратить... Жена его — чуть не сумасшедшая, в лечебнице психиатра... Он ездил в Москву по-видать детей, вернулся оттуда расстроеным; но не сухим, не злым.

Ровно за две недели до рождения ее ребен-

ка он пришел к ней и сказал: если она не хочет, чтобы он подписывал контракт на Лондон — он ответит отказом по телеграфу... Как могла она удержать его? Он предлагал взять ее с собой. Она и на это не согласилась. Почему? Не хотела этой «милостыни», не желала быть обузой, стыдилась своего положения, боялась, что он охладет к ней именно потому, что она обуза, что с ней надо будет просиживать все свободные дни.

Он и уехал. Прощаясь, плакал, кажется, искренно, предложил денег; она раскричалась на него, как никогда не кричала. В этом она увидела унижительную «подачку». "На, мол, тебе тысячу рублей и будь довольна, а я — умываю руки; я сделал все, что следует порядочному человеку".

И тогда, после сцены прощания, впервые заползло в ее душу сомнение: полно, любит ли она его беззаветно, тот ли он, с кем надо ей скоротать свой век?

Сначала депеши его летели чуть не каждый день, потом реже. Писать он никогда не любил. О рождении сына известила его акушерка. Он ответил радостно, но эта депеша ее

не тронула. На третий день она заболела и была между жизнью и смертью.

Гордость — вот что поддерживало ее и заставляло поступать так, как у нее выходило. Она не желала считать себя его женой, даже накануне того дня, как стала матерью. А могла бы, должна бы была так чувствовать, если хотела быть верной тому, что ее распаляло в борьбе со "злой волей" его жены.

Гордость да ненавистное чувство к этой женщине сидели в ней глубже всего остального.

Не захотела принять от него поддержки, даже для их ребенка, и увидала, почти с ужасом, что у нее собственных средств не хватит и на полгода, если жить так, как она жила.

От квартиры надо было отделаться. Свою мебель поставила она в склад и поступила тайной пансионеркой к Марье Филипповне, где все очень дорого.

Круг мыслей и ощущений привел ее к тому, с чем она проснулась.

И опять страстно потянуло ее к ребенку.

Дверь скрипнула. На пороге стояла хозяйка, блондинка, под пятьдесят лет, широкопле-

чая, с круглым, лоснящимся лицом, в городских на лбу, в богатом распашном капоте.

— Милочка! — тихо вскрикнула она. — Что вы!.. Никак, хотели вставать? Да это безумие, голубчик мой!

Ее белые и красивые руки, в перстнях, потянулись к больной, чтобы удержать ее от всякого лишнего движения.

Марья Филипповна присела на край кровати.

— Беспокойтесь о вашем бутузике? Напрасно. Он кушает исправно. Я знаю, скажете: поставить около вас. Невозможно это, голубчик мой, абсолютно невозможно... И туда не пущу раньше послезавтраго.

Больная силилась улыбнуться, но слова хозяйки и тон ее кололи ее. Помириться с своим положением какой-то беглянки-преступницы — она не могла.

— Через два дня мы на другой режим вас посадим.

Наклонившись к ней низко, Марья Филипповна медленно выговорила:

— Являлась ко мне одна дама и хотела вас видеть.

— Меня? Каким образом?

— Как будто родственница... Худая, очень, знаете, порядочная... С большим к вам сочувствием.

— Вы спросили фамилию?

— Спросила, милочка; она затруднилась. Говорит: я напишу Лидии Кирилловне, и, когда она поправится, она меня, быть может, примет.

Видя, что больная заволновалась, Марья Филипповна встала, сделала жест рукой и, уходя, пустила громким шепотом:

— Разговаривать довольно! Лежите мирно, голубчик мой, и благо вам будет!

IX

Перед нею, в полусвете комнаты, бледнело лицо — худое, совсем прозрачное, с остатками большой красоты; впалые, огромные глаза глядели на нее с непонятным, жутким для нее участием и еще с чем-то... Во всем существе этой женщины было что-то особенное, перед чем она смирялась.

И смотрела эта женщина совсем не старухой. Черное платье облекало тонкую талию с чем-то девическим, целомудренным. Никто бы не сказал, что она была мать девочки по тринадцатому году, что ей тридцать пять лет. Не пахло от нее ни камфарой, ни валерьяной.

Когда, четверть часа перед тем, Ашимовой подали карточку: "Анна Семеновна Струева" — все в ней всколыхнулось. Она хотела было отказать, но крикнула: «Просите», и поспешно стала оправлять свой пеньюар, в котором лежала на прибранной кровати, с пледом на ногах.

Это посещение почти возмутило ее. Что ей нужно?.. Полюбоваться на ее позор?

Но не прошло и пяти минут разговора, как

она не в силах была отдаваться злобному чувству. Она только слушала.

Эта женщина узнала, где ее найти, от адвоката... Он, конечно, и послал ее, и послал не зря, а за делом... В душе этой женщины все перегорело. Она просто, без хныканья, без фраз, рассказала про внезапную смерть старшей дочери, про свое душевное расстройство и про свое излечение. И под конец рассказа она вдруг нагнулась — сидела она на стуле, — протянула руку и, сдерживая волнение, выговорила звуком глубокой скорби:

— Простите меня, Бога ради... Я вас довела вот до чего... Простите...

И поникла головой.

Что же было отвечать? Разносить ее?.. Всякая злобность смолкла... Неожиданное чувство жалости к ним обоим овладевало Ашимовой... Обе они стали жертвы одного влечения, как бы сестры по судьбе своей.

Потом, оправившись, та начала говорить просто, как о деле, которое надо наладить поскорее, тоном должницы, готовой заплатить все просроченные проценты.

Недоверие на секунду закралось в Ашимо-

ву: не ловушка ли это?

— Почему же, — спросила она, наконец, кротко, почти стыдливо, — вы так долго не соглашались?.. Я не хочу верить, чтобы из одного упорства... после того, что я сейчас выслушала от вас.

— Почему? Лидия Кирилловна... На это легко ответить, когда знаешь, что тебя поймут.

— Я пойму вас, — сказал Ашимова, подняла голову и прислонилась ею к высоко взбитым подушкам.

Почему она упиралась?.. Потому, что не могла еще совладать с любовью к человеку, созданному ею, потому что любовь к нему перешла в материнское чувство и она не отделяла его от своих детей, рожденных от него же; потому что она страшилась лишить детей отца; потому что она изучила его натуру и знала, что он может, переходя от увлечения к увлечению, — лишиться всего... Упираясь, она хотела сохранить ему семью, куда он мог бы вернуться, побитый жизнью.

Все это отзывалось чем-то слишком чистым и возвышенным, почти театральным,

но Ашимова уже не могла не верить тому, что такие именно побуждения руководили ее соперницей. Незаметно исчезла для нее всякая возможность смотреть на Струеву, как на "злую разлучницу".

И впервые узнала она из ее исповеди, сколько эта женщина положила сил, вероятно, и материальных средств, на то, чтобы создать из мужа своего такого симпатичного артиста. Она почуяла, что все привлекательное в нем, на что она сама полетела как бабочка, было согрето и развито его женой.

— Умерла моя Оля, — доносился до нее тихий, немного глухой голос, она слушала с полузакрытыми глазами, — и когда я после болезни стала входить в себя, эта смерть явилась для меня откровением. Я не изуверка и не ханжа. Может быть, слишком мало думала о душе своей. Но этот удар просветил меня... Ваш адвокат, — он хороший человек, — узнал, что я выздоровела, приехал, рассказал, в каком вы положении — и вот я здесь, Лидия Кирилловна. Вам тяжелее. Я, как женщина, свое взяла с жизни. А вы, молодая девушка, честная, пылкая и в сущности ни в чем не ви-

новатая передо мной... У вас ребенок... Он сын Анатолия Петровича... Я должна отдать и ему, и вам права... Вы их достаточно выстрадали.

Голос ее крепчал, и тон ее слов показался под конец Ашимовой слишком торжественным, как будто отзывался рисовкой и нравов учением.

Она должна бы благодарить ее, потянуться к ней, обнять, но ее что-то держало. Эта женщина как бы оскорбляла ее своим нравственным превосходством — настоящим или поддельным. Но то, что она говорила, согласовалось с ее поведением. Ведь она сама приехала, она хочет — хоть и поздно — дать мужу развод, она их благословляет и думает только о том, чтобы сыну Анатолия Петровича и его теперешней подруге были возвращены законные права.

Уж не взялась ли она за ум и не желает ли отступного.

Эта мысль пронизала мозг Ашимовой, но она застыдилась ее тотчас же. Нет! На деньги она не пойдет, да и какие деньги может ей предложить муж, когда он вряд ли что давал

ей и на воспитание детей?.. И все-таки тон последних слов Струевой задевал и настраивал не так, как бы она сама желала.

— Живите... будьте...

Голос Струевой оборвался: она упала всем своим исхудалым телом на кровать и беспомощно зарыдала.

Ее всю трясло. Не поднимая головы, она пролежала так с минуту.

Ашимова сидела, вся потрясенная этим взрывом душевной боли. Тут только она все поняла — поняла и то, что, произнося слова свои торжественным тоном, эта женщина делала над собой нечеловеческие усилия, чтобы выдержать роль, не выдать себя.

И не смогла.

В рыданиях, в изможденном трепетном теле металось перед ней горе всей жизни, бесповоротное чувство потери до сих пор любимого человека.

Не сердце чувственной любовницы билось перед ней в муках, а сердце матери, у которой отнимают самое дорогое детище.

— Анна Семеновна! Умоляю вас! Я не хочу, я не хочу!

Эти слова вырвались у Ашимовой вместе с движением обеих рук.

Она схватила ими Струеву за плечи не то затем, чтобы привлечь ее к себе, не то затем, чтобы обнять.

Порыва нежности она не ощутила настолько, чтобы привлечь ее к себе, но на нее нашел почти ужас от того, на какое дело она так упорно и беспощадно шла.

Вот он, труп-то, не телесный, а труп женской души, такого же живого существа, как и она, неизмеримо больше любящего того человека, которому, быть может, нет особенного дела ни до одной из них.

— Простите!.. Я ничего!

Струева подняла свое лицо, все облитое слезами. Глаза ее скорбно замирали.

— Я ничего! Это — нервы! Все еще остатки болезни... Знаете, для нас, женщин, слезы — дешевый товар.

Ее поблеклые губы хотели было сложиться в улыбку. Она села опять на стул, застенчиво оправила ленты своей шляпки и провела платком по лицу.

Ашимова не находила в себе никаких

СЛОВ; ОНА СЛИШКОМ МНОГО ПЕРЕЖИЛА В ЭТИ ДЕСЯТЬ МИНУТ.

Х

Лужайка отдыхала от сильного дневного жара под тенью спустившегося перед закатом солнца.

На бревнах — новых, не прошлогодних — сидели опять Ашимова и ее приятель Крупинский. Она была в темном кретоновом платье, без шляпки, как дачница. Он одет почти так же, что и в прошлом июле, когда лесная тропинка завела их сюда, на эту самую лужайку.

Наружность Лидии Кирилловны изменилась — к выгоде ее. Овал лица сделался тоньше и цвет кожи менее ярок. Слишком пышный бюст принял более строгие очертания. В глазах не было задорного блеска. Они углубились в своих впадинах и казались больше.

Крупинский немного пополнил. Но в тоне его приятельского разговора с Ашимовой звучало что-то новое.

Вчера приехал он повидаться с нею, и они повели свою первую интимную беседу только сегодня, на прогулке в лес.

Она ему все рассказала, и когда они при-

шли сюда и сели, он уже знал, что ее ребенок умер, что Струев "пожинает лавры" в Ковент-Гардене и подписал уже ангажементы в Вену, Неаполь и Мадрид, по два месяца в каждом городе. Прокурор не проронил ни одного изречения, ни одной шутки. Его глаза грустно и вдумчиво взглядывали на Ашимову и тотчас же опускались.

— Вот какие дела, Крупинский, — начала она своим приятным, низковатым голосом, не утратившим грудной звучности после болезни. — Не хотите ли дать заключение?

— Зачем же так, Лидия Кирилловна?

Он почти смущенно отмахнулся правой рукой.

— Да что же все в лирическом тоне разливаться? Как видите, пророчество ваше сбылось. Я перешагнула через труп.

— Позвольте, мало ли что болтаешь!

— Нет, вы были правы! Только я перешагнула через труп собственного ребенка... Могла бы и через другой труп перешагнуть, через забитую душу той женщины... но не хочу.

— Почему же? — искренно вскричал он и приподнялся.

— Вы ли это мне говорите?

— Я, Лидия Кирилловна. В чем же вы можете себя упрекнуть теперь?

— Вы, стало, плохо слушали?

— Нет, превосходно!

— Я жертв не желаю, Крупинский. Он до сих пор ее идол... Такова женская доля. Но во мне, кажется, этого идолопоклонства нет. Он — ее дорогое чадо. Она надеется, что рано или поздно он вернется к ней и у него будет семья, у него будет мать, нянька, все, на что она способна для него и на что я неспособна.

— Вы?

— Нет, неспособна.

Ашимова провела по лбу рукой, и брови ее нервно сблизили свои концы.

— Зачем лгать самой себе? Я только вообразала о себе многое. Смерть моего мальчика научила меня знать себя лучше. Да, живи он — я бы не отказалась быть женой Струева — для сына. И то, едва ли!

— Лидия Кирилловна!

— Едва ли, — повторила она с ударением. — Он бы и меня бросил, стало быть, и его покинул бы. Дать ему имя? Так ведь он был

незаконный!

— Нынче стало легче вернуть права ребенку.

— Нет, я вряд ли бы пошла на это. Я хочу с совестью в ладу жить; всегда передо мной стоял бы призрак этой женщины... Как она тогда не выдержала и зарыдала, бросившись головой к ногам моим — такие минуты не забываются. Особенно когда страсть перегорела; а она перегорела.

— Однако... Явись он сюда, вот сейчас, вы бы кинулись к нему и пошли бы на все?

Не сразу ответила она.

— Не знаю... Вряд ли... Я ему — уже в тягость. Он меня зовет туда, но как? Для очистки совести. Да если бы я ему и по-прежнему нравилась — зачем я ему? Он идет полным ходом, и я для него обуза.

— Что вы говорите! Но вы пошли бы рука об руку!

— Я мечтала об этом. Голос у меня есть, но не Бог знает какой... Хорошо, если и в провинцию получу ангажемент. А уцепиться за него, чтобы он всюду меня таскал и, в виде подачки, выговаривал для меня места третьей кон-

примарии — я слишком горда. Что ж! Каюсь, гордость — мой коренной порок, но он, по крайней мере, удерживает от гадостей и унижений.

Горечь сложила ее губы, немного побледневшие, в усмешку.

— Вы не думайте, что во мне ревность, самолюбие говорят. До меня дошли слухи о его новых победах в Лондоне, об этой американке... с которой он пел в «Эрнани» с таким успехом. Нашлась какая-то добрая душа, анонимно прислала мне корреспонденцию, где есть прозрачный намек на то, что баритон и примадонна так искренно увлекаются на сцене, как могут только увлекаться взаимно любящие сердца. Есть и еще намек — на возможность свадьбы... Почему же нет?.. Крупинский, я не хочу говорить о нем дурно... У него такая уж натура: год — одно увлечение, следующий — другое. Неунывающий артист!.. Лучше я вам скажу про себя: настоящей, роковой любви к нему у меня нет... А ребенок наш умер! Стало... Остальное вы сами доскажете; вы в логике — первый мастер. Вы видите, я не рисуюсь, я — не в отчаянии... Буду жить, рабо-

тать, за счастьем погожу гнаться. Обожглась!
На первый раз довольно.

И она глухо засмеялась.

— Если так, — заговорил он, опять подсаживаясь к ней, — что ж!.. Я рад за вас, Лидия Кирилловна.

Он как бы перебил самого себя. Его речистость ему изменяла в первый раз с нею. Вбок поглядел он на нее с тревожным сочувствием. Можно было догадаться по движению рук и головы, что им овладевает волнение, которое ему трудно одолеть.

— Урок слишком тяжкий... И вы меня простите за все, что я в прошлом году изрекал, вот здесь.

— Напрасно!.. Если бы я помнила, как надо, ваши слова... о трупe, я бы не кинулась так напролом... не тешила бы так свое...

Она искала слова.

— Женское себялюбие, — выговорила она грустно и смолкла.

Крупинский протянул ей молча руку. Она пожалала.

В его пожатии была дрожь, замеченная ею. Этот "сушка-прокурор", — как она его звала

часто и в письмах, — человек с душой и предан ей.

Только ли предан? Не заговорило ли в нем более нежное чувство? Вопрос выскочил в ее голове сам собой... Она не устыдилась и не испугалась его.

Но голова продолжала работать. И сердце помогало этой работе головы.

Нет, — сказала она про себя, — не надо мне мужских подачек. И для меня, и для него унижительно, если он даже и полюбит меня.

Она способна была выговорить это вслух, начни он изливаться.

Что же тут мудреного? Мужчины, не меньше женщин, гоняются за миражем страсти, да вдобавок еще любят играть в великодушные, спасать, на каждом шагу принимать жалость за любовь.

А жалости она не хочет. И любить она не может, в эту минуту... Своего приятеля Крупинского способна полюбить, как хорошего человека.

Но такому человеку надо другую жену.

— Милая, — прошептал он и стыдливо прикоснулся губами к ее руке.

— Пойдемте... Мы старые приятели, — возбужденно и громко сказала Ашимова. — Нам нечего обижать друг друга жалостью.

И, молча, пошли они в обратный путь.

ПРИМЕЧАНИЯ

Впервые напечатано: "Северный вестник", 1892, № 4. Публикуется по изданию: Собрание романов, рассказов и повестей П. Д. Боборыкина. СПб., 1897, т. XI.

Рассказ удостоился высокой оценки Л. Н. Толстого, записавшего в своем дневнике от 9 августа 1892 г.: "Вчера читал Бабар<ыкина> Труп, очень хорош<о>".

Стр. 449...*в поярковой темной шляпе...* — т. е. в шляпе, сотканной или свалянной из поярки — шерсти с овцы первой стрижки, ярки.

Стр. 450. ...*гётевский Фауст <...> вскрикивает по-латыни: Incibus! Incibus!* — См.: Гете И. В. Фауст, ч. 1, карт. 1.

Стр. 454. *Конкубина* (конкубинка) — в Древнем Риме сожительница, не пользующаяся гражданскими правами законной супруги; положение конкубинки считалось позорным и потому недозволенным для римской матроны; здесь: любовница, содержанка.

Natura naturans <...> natura naturata — основные понятия философской системы Б.

Спинозы (1632–1677), нидерландского философа-материалиста: *natura naturans* — порождающая природа; *natura naturata* — порожденная природа.

Стр. 455. "Вот они, вот — неземные создания..." — цитата из стихотворения П. Ж. Беранже (1780–1857) «Барышни» в переводе В. Курочкина.

Стр. 460. Царская вода — сорт туалетной воды.

Стр. 462. *Eau de Botot* — зубной эликсир, средство для освежения полости рта.

Стр. 482. Ковент-Гарден — королевский оперный театр в Лондоне.

С. Чупринин

Note1

Ни мне, ни тебе (нем.).

[^^^]